

Мы привыкли думать о свободе в двух планах – в плане общественном, политическом, и в плане взаимных отношений, и определять свободу как наше право поступать так, как нам хочется. Но если подумать о значении слова **свобода** на разных языках, то раскрывается целый мир совершенно других и более богатых понятий, которые можно поставить в параллель с понятием послушания. Большей частью, опять-таки, понятия свободы и послушания мы противопоставляем одно другому: ты или слушаешься – или свободен. На самом деле между ними есть органическая и очень важная связь. Поэтому я хочу рассмотреть слово “свобода” на разных языках; это раскроет нам очень важные глубины.

Латинское *libertas*, которое дало слова, обозначающие теперь, в нашей практике, в нашей жизни политические, общественные свободы: мое право распоряжаться своей судьбой, своей личностью, своей жизнью – было понятие юридическое. Оно означало изначальное общественное положение ребенка, родившегося от свободных родителей, не от рабов. Но ясно, что родиться с правами свободного человека вовсе не значит быть свободным или остаться свободным. Если вы рождены с правами свободного человека, но стали рабом своих страстей в каком бы то ни было виде, то о свободе больше нельзя говорить. Человек, ставший наркоманом, поработанный пьянством или любой страстью, какие описаны святыми отцами или известны нам просто из опыта, уже не свободен. И поэтому свобода в этом понимании неразлучно связана с дисциплиной: чтобы, родившись свободным, таковым остаться, надо научиться владеть собой, быть хозяином себе. Если я неспособен исполнять приказания, повеления своей совести или своих убеждений, то я уже не свободный человек, каково бы ни было мое общественное положение. И в результате этого два понятия сразу связываются с понятием свободы: способность владеть собой, и та прошколенность, которая к этому ведет, которая в сущности и есть послушание. Мы воспитываем ребенка путем послушания; но **послушание** можно понимать двояко. Можно его понимать как дрессировку, подобно тому, как собачку дрессируют: как только ты сказал: “делай” – он делает, “иди” – он идет, “беги” – он бежит. И это, к сожалению, наблюдается на всех планах жизни, например, в семье, когда строгие родители **дрессируют** своих детей. Я помню двух моих сверстников; у них была очень властная мать. Однажды ее кто-то спросил: каким образом ваши сыновья, которым уже за тридцать лет, исполняют ваши приказания мгновенно?.. И она с выражением трогательного изумления сказала: у меня – руки, а у них – щеки!.. Этот род послушания, конечно, ничего общего не имеет с воспитанием человека в свободе; это никогда не приведет к свободе, это порабощение.

Но есть понятие послушания совершенно иное. Читая жития святых, мы сталкиваемся с тем, что иногда старец давал странные приказания – просто чтобы научить человека побеждать своеволие. Если немного отойти от такой воображаемой практики, вернее, от образов послушания в пустыне, то окажется, что послушание в основе заключается в том, чтобы научиться всем существом своим – то есть всем умом, всем желанием своим, всей волей – вслушаться в то, что говорит другой. И цель его – именно перерасти себя благодаря тому, что ты вслушиваешься в мудрость или в опыт другого человека. И от этого получают не недоросли (какими удалось сделать тех молодых людей), а взрослые, зрелые люди, которые способны отрешиться от себя с тем, чтобы открыться голосу или образу другого человека. И когда эта способность вслушиваться испытывалась отцами в египетской пустыне посредством приказаний, которые казались просто абсурдными, цель была совсем не в том, чтобы людей дрессировать: “что я скажу, то ты и делай”, – а в том, чтобы в любую минуту они могли забыть свои соображения и исполнить то, что им сказано, как школа вслушивания в чужую душу, в чужой опыт, в чужое понимание. Такое послушание может привести к зрелости и к тому, что человек способен владеть собой. Если я могу отрешиться от своих мыслей данного момента, от своих эмоций данного момента ради того, что говорит другой человек, больше для меня значащий, чем я сам, тогда я освобождаюсь от себя путем овладения собой; я могу отпустить себя, я могу освободиться от себя самого. И так это первичное понятие, которое я указывал, *libertas*, состояние свободнорожденного ребенка, может перейти в состояние свободного гражданина, человека, который имеет над собой такую власть, что может в любую минуту контролировать свои желания, свои мысли, свои волеизъявления и даже свои телесные реакции. Потому что каковы бы ни были наши мысли или чувства или движения воли, если мы физически испуганы, если мы не способны подвигнуть свое тело на то или другое действие, то все может разбиться. Вы можете, имея самые благородные чувства, увидеть, как на человека нападают хулиганы, и струсить: ваша плоть неспособна на бой, – не потому что сил нет, а потому что духа не хватает. Это очень важный момент.

Таким образом, послушание и свобода неразрывно связаны; одно является условием другого, как школа. Но конечная цель такого послушания, начинающегося со слушания, вслушивания в мысли, чувства, опыт другого человека – нас научить такой отрешенности от своих предвзятых мыслей или владеющих нами чувств, что мы можем потом вслушиваться в волю Божию. Потому что, разумеется, услышать приказ живого человека во плоти гораздо легче, чем понять слово евангельское. Как только мы слышим

евангельское слово, мы сразу умеем найти способы избежать острия его требовательности. А послушание, которое требует отрешенности, овладения собой, имеет только одну цель: нас сделать способными слушать и слышать слово евангельское, то есть Христово слово в Евангелии, или голос – еле слышный, а то ясный, яркий – Святого Духа в нашей душе. И только такое послушание может нас сделать зрелыми людьми, а не недорослями, которые всю жизнь нуждаются в указаниях, что делать и как.

Второе условие свободы – дисциплина. Мы опять-таки ошибочно думаем, будто дисциплина – почти что воинский устав, армейская обстановка; тогда как это слово происходит от латинского *discipulus*, что значит **ученик**. Дисциплина – это состояние человека, который нашел себе наставника и отдал себя этому наставнику как ученик, и потому всей душой, всем существом вслушивается во всё, что этот наставник может сказать, не воображая, что он никогда не ошибется ни в чем, но с тем, чтобы принять в себя весь опыт своего наставника и перерасти себя.

Второе значение слова “свобода” мы находим в германских языках. Немецкое, английское *Freiheit*, *freedom* происходят от санскритского слова, которое в глагольной форме значит “любить” и “быть любимым”, а как существительное значит “мой любимый”, “моя любимая”. Ранняя интуиция санскритского языка определила свободу как любовное соотношение двух, причем **любовное** в самом глубоком смысле слова: я тебя достаточно люблю, чтобы тебя не поработить, я тебя так люблю, что хочу, чтобы ты был самим собой до конца, без того чтобы я тебя определял, тебя менял, чтобы я на тебя влиял. Мне кажется гениальной такая интуиция, которую мы находим в словах, причем настолько древних, что они почти говорят о рождении мысли из чистого опыта. Да, свобода действительно это: состояние, когда два человека так друг друга любят, с таким глубочайшим уважением друг к другу относятся, что они не хотят кромсать друг друга, менять друг друга, они взаимно в созерцательном положении, то есть они друг на друга смотрят как на – говоря уже христианским языком – икону, как на живой Божий образ, который нельзя трогать: перед ним можно преклониться, он должен явиться во всей красоте, во всей глубине, но перестраивать его нельзя.

И третье слово – русское – **свобода**: но тут этимология гораздо более сомнительна, она принадлежит русскому философу А.С. Хомякову и, может быть, не исчерпывающе достоверна. Хомяков производит слово “свобода” от **быть самим собой**.

Возьмите всю эту линию разных слов. Действительно, мы рождены свободными в совершенном смысле слова. Если я собой не владею, я не могу себя дать никому, ни Богу, ни человеку: мы можем получить власть отдать себя в порядке послушания. Это ведет к взаимному отношению с Тем, Кто сказал: не называйте себе никого на земле учителем – **Я ваш единственный Учитель** (Мф. 23, 8) – со Христом. Это – соотношение взаимной любви, когда Бог не “вторгается” в нашу жизнь, когда Он нас не “соблазняет” обещаниями, когда Он нас не поработит приказами, а нам говорит: Вот путь вечной жизни; **Я – путь**. Пойдешь по этому пути – дойдешь до полноты своего бытия, и тогда станешь самим собой в полном смысле этого слова, богочеловеком, приобщившись Божественной природе, как говорит об этом апостол Петр (2 Пет. 1, 4). И вот когда мы думаем о свободе, о послушании, о дисциплине, мы должны иметь эти вещи в виду, чтобы не превратить свободу в произвол, а послушание в рабство, в результате чего станем на всю жизнь подвластными недорослями, что случается слишком часто.

Я попробую эту тему о свободе связать очень быстро и коротко с мыслью о подвижничестве. Слово подвиг связано с мыслью о движении. Подвижник – тот, кто не остается косным, кто постоянно в творческом состоянии движения. Я не говорю “прогресса”, потому что человек не идет от победы к победе. Есть замечательное письмо святителя Тихона Задонского, где он говорит: в Царство Божие не идут от победы к победе, а большей частью от поражения к поражению, но те доходят, которые после каждого поражения, вместо того чтобы сесть и оплакивать его, встают и идут дальше. Подвиг именно в этом заключается: никогда не сесть оплакивать. Плакать можно по дороге, плакать можно на пути, плакать можно, когда дойдешь до цели, падешь на колени перед Спасителем и скажешь: “Прости, Господи! На всю Твою любовь я ответил цепью измен – а всё-таки я пришел к Тебе, не к кому-то другому...”

Если соединить то, что я говорил о власти над собой, о послушании, о состоянии ученика по отношению к учителю, то ясно, в чем заключается подвиг. Он начинается в момент, когда мы выбираем своего наставника. В конечном итоге этим наставником будет Бог; но раньше чем мы сможем сказать: я в таком общении с Богом, что могу просто слышать, слушать и действовать, – есть целый ряд стадий. Первая стадия, разумеется, – живое Божие слово в Евангелии. Это слово, которое мы можем услышать, но оно не всегда до нас доходит, потому что мы не всегда способны слышать. И поэтому большей частью нам нужно человеческое наставление, хотя бы разъяснение порой: как этот отрывок понимать и как его – это главное – **применять**; потому что мы или берем максималистичекую линию и тогда неспособны выполнить то, что сверх наших сил, или наоборот, удовлетворяемся очень немногим и никуда не движемся.

Тут большую роль может сыграть мудрый, опытный наставник, который скажет: вот что значит слово Божие в данном случае; а теперь подумай или подумаем вместе о том, как ты можешь это применить, насколько ты можешь его исполнить, что ты можешь сделать для начала. Потому что если с успехом

сделать нечто в начале, следующий шаг возможен; если попытаться сделать невозможное, то второго шага не будет, человек сломится. Но тут надо действительно знать, с кем ты имеешь дело, то есть знать, в каком ты соотношении с данным наставником: он просто твой приходской священник, который исповедует тебя, или он может тебя вести (конечно, в определенных пределах своей ограниченности; я не хочу сказать: глупости или неопытности, я говорю о каком-то пределе, который не охвачен чистой благодатью); или тебе дан старец, который не нуждается в твоих объяснениях, не нуждается в твоей исповеди, который видит тебя насквозь – как видели людей Серафим Саровский, Амвросий Оптинский, таких примеров сколько угодно и в древней литературе и в опыте наших дней.

А второе – вслушивание в Евангелие. Мне кажется, что очень важно читать Евангелие как бы в духе свободы, то есть с готовностью сказать: это я могу принять, этого не могу принять; это я понимаю, этого не понимаю! – а не стараться воображением создать картину, которой **нет** на самом деле. Я сейчас это разъясню немножко.

Очень часто люди читают Евангелие и отмечают в нем всё, что их обличает, что как бы выявляет их греховность или неправоту. Я думаю, что от этого никакой пользы не бывает; это только вгоняет в отчаяние. Когда на себя смотришь и думаешь: не очень-то я приглядный... – это уже довольно плохо; но когда смотришь в зеркало евангельское, и как бы Сам Бог тебе говорит: да ты посмотри, какой ты духовный урод! – тогда действительно не на что опереться. Так что мой совет: читать Евангелие и отмечать всё то, что нас сродняет с ним. Когда мы читаем какой-нибудь отрывок, у нас могут быть три рода реакции. Есть места, которые нас оставляют довольно-таки спокойными: конечно, Христос лучше знает, поэтому Он, должно быть, прав, но до меня не доходит. Умственно это может быть приемлемо, но меня это не волнует. Есть места – если мы были бы действительно честны, мы бы сказали: “Ой нет, Господи! Ой нет, не для меня!..” Помню старушку одну; я как-то проводил ряд бесед о Заповедях блаженства, и как мы дошли до “блаженны вы, когда будут поносить вас...” – она мне говорит: “Ну, отец Антоний, если вы **это** называете блаженством, я вам его оставляю. Я намучилась достаточно, мне не хочется больше голодать, холодать, быть гонимой; этого **хватит!**..” Она была честная; но мы не всегда так честны. Мы очень часто поступаем точно так, но мы этого Богу не скажем и себе не скажем, а только бочком избегаем этих мест. Так вот, надо быть честными; и, с другой стороны, выискивать места, говорящие о красоте, которая в нас уже есть, о сообразности, которая уже существует между Богом и нами. Пока мы только умственно соглашаемся: раз Бог так говорит, значит, это правда, – до нас это не дошло. А если мы можем сказать: Боже, как это прекрасно! – значит, мы и Бог встретились в этом изречении, в этом образе, в этой притче, в этой заповеди. Мы можем воспламениться радостью, восторгом и, как путники в Еммаус, воскликнуть: разве наше сердце не горело в нас, когда Он говорил с нами на пути? (Лк. 24, 32). На нашем языке это будет значить, что когда мы читаем какой-нибудь отрывок и можем сказать: Господи, как это прекрасно! Боже мой, как это чудно! – это значит, что до нас дошло. И если это случилось, то в этом малюсеньком, может быть, пункте мы можем сказать: я обнаружил свое сродство с Богом... Если думать о себе, как об очень испорченной и поврежденной иконе, это значит: вот здесь во мне остаток, неповрежденный остаток образа Божия, и это я должен хранить, как священную заповедь, в этом я уже в гармонии с Богом; если я нарушаю это, я не только нарушаю мое отношение с Богом, – я разрушаю то, что во мне уже есть Божественного, святого. И тогда начинается подвижничество, потому что эти маленькие – скажем: звезды в ночи должны быть защищены от всякого разрушения; они – как маленькие очаги, которые могут потухнуть; и подвижничество будет заключаться в том, чтобы этот очаг защитить, его как бы кормить, чтобы пламя разрасталось, чтобы два очага соединились в одно большое пламя, может быть, в пожар. Тогда как если вы будете сосредотачиваться только на том плохом, что можно найти в себе (даже без Евангелия, только в зеркало посмотри и довольно), то жизнь превращается в странное упражнение: будто вся она должна сводиться к тому, чтобы с дороги, по которой ты даже не собираешься идти, убирать препятствия. А если цель – дать вырасти тому или другому, что ты прочел в Евангелии, ты неминуемо столкнешься с какими-нибудь противодействиями или с трудностями, и тогда борись с этими трудностями. Но не начинай бороться с теми трудностями, которые не мешают тебе быть собой, потому что, конечно, в Священном Писании можно найти сколько угодно заповедей, которые мы не исполняем, которые нам не естественны. Вот подвижничество, доступное всякому человеку; незачем быть столпником или уходить в затвор, достаточно попробовать быть самим собой в хорошем, в евангельском смысле слова, по образу Христа. Вот подвижничество для каждого отдельного человека.

---

[1] Беседа в Москве в июне 1988 года. Эта и предыдущая беседа были опубликованы журналом “Человек” (1993, № 3) под общим названием “О свободе и призвании человека”.